

ПУШКИН В АНАЛИЗАХ Н.Н. СТРАХОВА

©Т.В. Ведерникова

*Харьковский национальный педагогический
университет имени Г.С. Сковороды*

PUSHKIN IN THE ANALYSIS BY N.N. STRAHOV

©Tatiana Vedernikova

Harkov National Pedagogical University by G.S. Skovoroda

No doubt, that Strahov is the Pushkin's fan and he was generated under the influence of Ap.Grigoriev and the same as his teacher considered "Pushkin is our all". But in a quantitative sense he has written about Pushkin much more, than Grigoriev and has acted in these articles not as the critic, he was the historian of the literature in the greater degree. The sight at Pushkin Strahov stated in polemic not only with hostile Pisarev but also with Slavophiles more close to him ideologically. Strahov was the first who has raised the question about the Pushkin-parodist. It was original opening for him. Temperamentally written articles by Stpahov promoted formation at his contemporaries of the correct and deep representation about Pushkin.

Пушкиноведческие работы Страхова создавались на протяжении более чем полутора десятилетий: с 1866 до начала 1880-х гг. и вошли в сборник «Заметки о Пушкине и других поэтах» первоначально вышедший в Санкт-Петербурге в 1888 г., а затем дважды (в 1897 и 1913) переиздававшийся в Киеве. Естественно, за это время позиции критика пережили определенную эволюцию, и возможно, именно это побудило его предпослать сборнику предисловие, в котором его отношение к Пушкину нашло наиболее обобщенное и законченное выражение.

Нет сомнения, что слова Ап. Григорьева «Пушкин – это наше все» могли бы служить эпиграфом и к этому предисловию, и к книге в целом, что работы Страхова, как и Григорьева, были реакцией на то пренебрежительное отношение к Пушкину, которое было достаточно распространено в середине XIX века и получило наиболее агрессивное выражение в статьях Писарева.

Но тональность и сам подход к материалу у обоих авторов различен. Григорьев рационалистичен, мыслит суждениями и убеждает аргументами. Страхов эмоционален, охотно оперирует образами и стремится воздействовать на чувства читателя. «С именем Пушкина связано какое-то очарование. Есть такие чарующие имена <...> Эти имена составляют синонимы света и красоты, высшей прелести, до какой могут достигать человеческие чувства <...> Нужно быть способным к очарованию; непременно нужно испытать на самом себе обаяние того чародея, о котором хотим рассуждать. Восторг понимается только восторгом»¹.

Но ощущая себя все-таки критиком и историком литературы, Страхов помнит и о необходимости «совладать со своим очарованием», «выбиться из-под его власти», «обратить его в наслаждение сознательное и отчетливое», «это очарование довести до сознательности и определенности». «Если мы не выйдем из-под власти этого обаяния, мы никогда не получим способности вполне и правильно судить о нашем поэте» (С. 6-7).

Приведя затем обширную, размеров почти в страницу, цитату из статьи Григорьева «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», напомнив мысли, которые принимаются как исходная точка его собственных размышлений, отдавая себе отчет в том, что «предстоит еще огромный труд в изучении и понимании Пушкина», Страхов отмечает, какие черты внутреннего мира и творчества Пушкина станут главным предметом внимания в его «Заметках». Это «выражение страдания», это пушкинское «искусство воплощать, делать определенным, превращать в живое и

¹ *Страхов Н.Н.* Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. 6. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием номера страницы в скобках после цитаты.

понятное, высказывать точными словами все самое неуловимое и недостижимое, что бывает в душе человеческой» (С. 10).

Его «Заметки» направлены на «изучение формы», в чем «есть большая потребность в настоящее время», ибо «после несравненных образцов, данных Пушкиным и так долго действительно бывших для всех образцами, мы, через пятьдесят лет после его смерти, находимся среди ужасной распушенности, которая губительно действует на таланты и породила целый поток плохих стихов» (С. 11). На этом заканчивается первая, меньшая, часть «Предисловия», вторая, большая, содержит анализ тогдашней литературной ситуации. Пушкин в ней не упоминается, но, можно сказать, присутствует в ней незримо.

Обращаясь к литературе последнего тридцатилетия, Страхов со злобной иронией говорит о поэтах, которые «неожиданно и незаслуженно потерпели горькую участь во время этой так называемой *эры обновления*. Тогда в литературе получило силу и с каждым годом разрасталось *гражданское* направление <...> Явилась *обличительная* литература, и вообще проповедовалась теория, что всякое искусство и писательство, всякая наука и умственная деятельность должны иметь в виду прямую пользу для общества» (С. 12). Всем этим ненавистным Страхову явлениям и тенденциям литературного развития, по мысли критика, противостоит Пушкин. В том и состояла его потаенная мысль, можно сказать, сверхзадача всего сборника, чтобы использовать авторитет Пушкина в борьбе со своими идеологическими противниками.

Все статьи Страхова о Пушкине глубоко полемичны, все они содержат возражения против распространенных в то время точек зрения о его творчестве и его значении. Иногда эта полемичность, так сказать, лежит на поверхности, их авторы названы прямо, иногда она улавливается в подтексте. Но во всех случаях она заслуживает пристального внимания, потому что именно она дает ключ к правильному пониманию этих статей.

Первая из них – «Несколько запоздалых слов» была написана в конце 1865 года и появилась в январском номере «Отечественных записок» за 1866 год; представляла она собой непосредственный отклик на статьи Писарева. Но спорить с ними

Страхов тогда не считал нужным, расценив их как «скандал», который не может повредить репутации поэта, потому что нельзя «найти в этих суждениях что-нибудь новое и достойное размышления». Большую опасность таили в себе, по его мнению, те искажения в подходе к Пушкину, которые содержались в выступлениях славянофильской критики и, в частности, в аксаковской газете «День». Они, как полагал Страхов, давно заслуживали ответа и в этом, по-видимому, и кроется смысл заглавия статьи – «Несколько запоздалых слов».

Страхов напоминает о недавнем праздновании столетия со дня рождения Ломоносова, в котором видит «одно из светлых явлений нашей духовной жизни», и совершенно резонно отмечает, что при этом оставлены в тени другие имена, равно дорогие и славные. Особенно должно было его задеть появившееся в «Дне» утверждение известного славянофила В.И. Ламанского, который провозглашал Ломоносова единственным образцом, с которым не могли сравниться последующие поколения и, который один воплотил лучшие свойства национального духа». «Последовавшие за Ломоносовым деятели, – прямо утверждал автор, – не имели уже в себе чистоты и упругости русского народного типа»².

Еще более категоричен был такой признанный идеолог славянофильства, как А.С. Хомяков. Он не раз по разным поводам высказывался о «слабостях» Пушкина, усматривал в его творчестве лишь «следы старорусского песенного слова»³, не признавал, что Пушкин проявил себя «как человек вполне русский». Для Страхова все это было совершенно неприемлемо. «...Есть светило, – утверждал он, – которое у нас не уступает никакому другому светилу, но, по общей участи русских светил, все еще остается бледным и малым для многих глаз. Это имя и это светило – Пушкин» (С. 3).

Критик проницательно объясняет, что отсутствие этого имени в публикациях «Дня» не случайно. Ломоносов противопоставлен неназванному Пушкину как человек «из простого народа», вот «причина, почему он обнаружил такую цельную,

² День. 1865. № 16. С. 363.

³ Хомяков А.С. Полн. собр. соч. М., Т. 3. 1914. С. 111.

здоровую, громадную силу духа». А Пушкин «не был простолюдином и не стал мыслителем». «Никому впрочем не тайна, – продолжает Страхов, – холодность наших славянофилов к нашему Пушкину. Она заявляется издавна и постоянно. Это печальный факт, который еще и еще раз свидетельствует о безмерной путанице нашей жизни» (С. 3-4). Славянофилы не могли простить Пушкину его несомненного «западничества», его приверженности европейским идеалам и европейской «образованности», его одобрения деятельности Петра I, которая в их глазах была отходом от патриархальных устоев русской жизни и повела страну по ложному пути.

Вслед за Аполлоном Григорьевым Страхов оспаривает характерное для славянофилов возвышение Гоголя над Пушкиным и называет «странным явлением, что *неполный* поэт, Гоголь, был признан славянофилами за русского художника, тогда как Пушкин, поэт *полный*, подвергся с их стороны сомнению» (С. 5). Может показаться, что на последующих страницах статья утрачивает свой полемический характер. Но такое заключение было бы ошибочным.

Страхов исследует «ряд произведений, тема которых – значение поэта, его достоинство, его отношение к окружающей жизни» (С. 5). Но в этой теме присутствует еще один важный и постоянный элемент – взаимоотношение поэта с его современниками. Он и вносит в разбираемые пушкинские стихи «какое-то беспокойство и смущение», «тревогу и дисгармонию» – следствие того, что «масса читателей все больше и больше к нему охладевала» (С. 6).

Прослежена эволюция отношения Пушкина к этому охлаждению: «сначала поэт, очевидно старался уйти от борьбы в высокомерие и презрение к своим читателям... Но такое равнодушие и гордое отношение к читателям, очевидно, были не в натуре Пушкина; с ним не могла помириться та глубокая сердечная тревога, которою он весь проникнут <...> Гордому поэту все тяжелее и тяжелее было нести свой поэтический крест <...> Его судили глупцы, толпа отвечала на его речи холодным смехом. Ничем не мог он победить холодности толпы, ничем не мог поменять мнения глупцов». А между тем «Пушкин всею натурою своею был поэт; что бы он сам ни говорил в минуты печали, для

поэта главное – сочувствие его произведениям, или, говоря широкими словами самого Пушкина, народная любовь» (С. 7-10).

Лишь в конце статьи определяется, в чем был полемический подтекст всех этих наблюдений. Они тоже направлены против критиков Пушкина, но на этот раз не славянофилов. «Ему ставят обыкновенно в упрек, почему он не был деятелем протеста против современного ему порядка вещей, почему он уживался в нем. Но тут великая тайна. Он ужился со своим временем только потому, что был великий поэт, что у него был алтарь, огонь которого он должен был свято охранять» (С. 15-16). Пушкин, по мысли Н.Н. Страхова, глубоко сознавал то, чего не понимали его критики; служение поэтическому алтарю он воспринимал как свой высший долг.

Следующая статья «Главное сокровище нашей литературы» еще более открыто и воинственно полемична, чем предыдущие. Первой фразой «Бедна наша литература, но у нас есть Пушкин» обозначив свой главный тезис, Страхов сразу же переходит к резким обличениям: «...есть нечто поразительно-безумное во многих суждениях и толкованиях, которым подвергался Пушкин в нашей – как бы сказать? – *действовавшей* литературе, в той части литературы, которая, исполнившись непобедимой веры в свои силы и свое призвание, принялась все решать вновь, взяла на себя установить надлежащий взгляд на все вещи в мире, а между прочим и на русскую литературу» (С. 17). Здесь каждое слово так и дышит язвительной иронией и непримиримой ненавистью.

Вообще критик отдает себе отчет в необходимости уважительно относиться к чужим точкам зрения, но, как он дальше подчеркивает, «разбирая суждения о Пушкине, о которых мы завели речь, почти нет возможности стать и на такую точку зрения» (С. 18). Он говорит о безмерной диспропорции между громадным явлением, в котором отразилась красота души человеческой и людей с микроскопическими и слепыми взглядами, которые берутся о нем судить.

Если первая половина статьи «Главное сокровище нашей литературы» интересна и значима своей полемической стороной, бескомпромиссной борьбой за Пушкина, против любых попыток его недооценки и принижения, то вторая содержит наблюдения, которые, на наш взгляд, можно без преувеличения назвать

открытием Страхова, который впервые поставил вопрос о *Пушкине-пародисте*. В статье «Главное сокровище нашей литературы», ставшей впоследствии составной частью цикла «Бедность нашей литературы», Страхов изложил лишь часть своих соображений по указанному поводу. В 1874 году в сборнике «Складчина» появился новый цикл его работ, озаглавленный «Заметки о Пушкине». Одна из этих «заметок» так и называлась – «Пародии».

Даже для человека, осведомленного в литературе о Пушкине, сама постановка вопроса о Пушкине как авторе пародий может оказаться неожиданной. При всем обилии написанного о нем в этом аспекте его творчество представляется совершенно неизученным. Еще большим должно было быть удивление читателей сборника статей Н.Н. Страхова «Заметки о Пушкине и других поэтах», где этот вопрос был поставлен впервые. Конечно, объем написанного о Пушкине за минувшие с тех пор почти полтора века возрос многократно, но и к тому времени уже существовали статьи Белинского, Ап. Григорьева и многих других авторитетных авторов, и о пародиях Пушкина в них не было ни слова.

Стоит напомнить, что сам Страхов отдавал себе отчет в новизне найденного им подхода к произведениям Пушкина и счел нужным отметить: «Сколько помнится, никогда не было указано на такое значение этих произведений; между тем оно несомненно...» (С. 27). Ощущается настоятельная необходимость критически осмыслить «открытие» Страхова, уяснить, соответствует ли действительности то, что казалось ему несомненным, ввести его аргументы в контекст современных представлений о Пушкине.

Итак, что же утверждал Страхов? К вопросу о Пушкине-пародисте он обращался дважды: в статье «Главное сокровище нашей литературы» и в специальной небольшой заметке, которая так и называется – «Пародии», и обращался для того, чтобы вновь и на новом материале подтвердить величие Пушкина. Ему, говорит Страхов, «не чуждо было сознание своего величия», и в его пародиях он видел «свидетельство тех проблесков сознания своего величия, которые в этом случае, то есть у Пушкина, доказывают само величие» (С. 26-27).

По мнению Страхова, «Пушкин написал две пародии, именно “Летопись села Горохина”, пародию на ”Историю

Государства Российского” *Карамзина* и так называемые *второе и третье* “Подражания Данту”, составляющие пародию на “Ад Божественной Комедии” *Данты*» (С. 27). Страхов ошибочно называет произведение Пушкина. Правильное название – «История села *Горюхина*». Искажение, сделанное в первом, посмертном собрании сочинений Пушкина, существовало до начала XX века и было исправлено только С.А.Венгеровым по обнаруженной им рукописи и введено в оборот с выходом Полного собрания сочинений Пушкина, выпущенного под его редакцией в 1907-1915 гг., т.е. после смерти Страхова. При этом Венгеров не только обосновал правильность своего прочтения спорной буквы, но и указал на его принципиальный характер: «...Это название столь же символично, как и вся “История”, как символичны некрасовские Нееловы, Гореловы, Неурожайка тож»⁴.

Прежде чем обратиться к аргументации предлагаемого им «значения» названных пушкинских произведений, критик делает очень важное предупреждение: «Но скажем прежде несколько слов о том, что такое пародия. Читатели, привыкшие к современным ходячим пародиям, пожалуй, видят в них что-то не совсем хорошее, и готовы будут найти, что мы не делаем чести Пушкину, приписав ему охоту упражняться в этом роде поэзии. Пародия составляет нынче большей частью бестолковое глумление над пародируемым произведением, состоящее в бесцеремонном искажении его смысла, тона и духа. Это дело легкое и бесплодное, в котором талант заменяется грязным воображением, одевающим в пошлость все, что ни видит перед собой» (С. 27).

Здесь Страхов излагает – пусть с враждебной и уничижительной интонацией – то понимание пародии, которое было господствующим в его время, когда считалось само собой разумеющимся, что смысл пародии в том, чтобы разоблачать отжившее, бездарное, дискредитировать ложные авторитеты, указывать читателю на слабости незаслуженно прославленных произведений, но подлинные художественные шедевры не должны и не могут быть предметом пародирования.

⁴ Венгеров С.А. Горюхино, а не Горохино // Пушкин А.С. Сочинения. Спб.: Изд. Брокгауз-Ефрон. Т. 4. 1910. С. 226.

Поэтому Н.А. Добролюбов, который сам был первоклассным пародистом и не раз использовал возможности пародии в литературной борьбе, говорил о непростительности «и самых остроумных насмешек над тем, что дорого и свято... Попробуйте перепародировать Гоголя в его “Мертвых душах”, “Ревизоре” и лучших повестях – много ли успеха будете вы иметь?». Иное дело, если требуется «ловить и обличать»: «тут-то и годится пародия»⁵.

Такой подход к пародии сохраняет права гражданства до нашего времени. «Пародия *всегда* (курсив наш. – Т.В.) связана с дискредитацией идейного смысла произведения или поэтической системы писателя...», – писал И.Г. Ямпольский⁶. Поскольку он зарекомендовал себя как исследователь именно добролюбовско-страховского периода истории русской литературы, то они показательны не только как его собственное мнение, но и как выражение взгляда, который сформировался именно на основе тогдашней литературной практики и в то время был господствующим.

Но Страхову могло быть известно и другое, пушкинское понимание пародии, которое он дал в заметке «Англия есть отечество карикатуры и пародии», появившейся в 1830 году в «Литературной газете», а в 1881 году введенной П.А. Ефремовым в корпус сочинений Пушкина. Для Пушкина главное в пародии не установка на высмеивание и уничтожение, а способность пародиста верно уловить и воспроизвести особенности стиля пародируемого автора. «Сей род шуток, – писал он, – требует редкой гибкости слога; хороший пародист обладает всеми слогами...» (XI, 118).

Но если эти строки и не были известны Страхову, он в своем понимании пародии явился прямым продолжателем Пушкина, сформулировав совершенно сходный подход к ее сущности и функциям, резко разойдясь со своими современниками. Это им он сказал: «Не такова настоящая, поэтическая пародия. Она требует глубокого и строгого проникновения в дух и манеру писателя, который пародируется. Чем ближе пародия к подлиннику, тем она выше. Во-вторых, такая пародия требует полного и меткого

⁵ Добролюбов Н.А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л. Т.6. 1963. С. 215, 220.

⁶ Ямпольский И.Г. Середина века. Л., 1974. С. 216.

указания тех противоречий, которые пародируемый писатель представляет в отношении к действительности, или к идеалу; следовательно, такая пародия требует ясного понимания этой действительности, этого идеала; она вызывается этим пониманием, и служит для его выражения и прояснения. Таким образом, из-за настоящей пародии должен выглядывать тот взгляд на предмет, то лучшее и высшее его понимание, против которого фальшивит пародируемый автор. В таком смысле, как обличение фальши перед истиною, пародия есть вполне поэтическое дело, вызываемое действительною поэтическою потребностью и требующее высокого таланта. И в этом смысле пародии Пушкина суть произведения удивительные по глубине и мастерству, лучшие пародии, которые когда-либо были писаны» (С. 28).

Критик не случайно так подробно излагает теоретические предпосылки своего анализа пушкинских пародий: ведь если исходить из добролюбовского понимания пародии и недопустимости пародирования того, что «дорого и свято», то как могли стать его объектом такие дорогие и святые для Пушкина имена, как Данте и Карамзин. Вместе с тем, когда Страхов вменяет в обязанность пародии «обличение фальши перед истиною», он не вступает в противоречие и с Пушкиным. Ведь и Пушкин ставил пародию в один ряд с карикатурой, но и в той и в другой он видел в первую очередь подтверждение значимости объекта, привлекающего внимание пародиста и карикатуриста: «Всякое замечательное произведение подает повод к сатирической картинке; всякое сочинение, озаменованное успехом, подпадает под пародию» (XI, 118).

Развивая эти мысли во второй статье, Страхов отмечает, что в пародиях Пушкина «обнаруживается та же его изумительная чуткость. Способный по произволу принять тон и склад какого угодно писателя, он тонко чувствовал малейшие уклонения его от идеала поэтической красоты; этот идеал был так ясен для Пушкина, что уклонения выступали, как темные пятна на ярком свете, и наш поэт иногда забавлялся, подробно обозначая густоту и контур этих пятен» (С. 52).

Трудно представить себе, что на такое глубокое и во многих отношениях горькое произведение, как «История села Горюхина»

как на забаву, что создавая такие произведения, Пушкин «бросал со своих высот на другие умы (Карамзина? Данте? – Т.В.) взгляд, так сказать, играющий высокомерием» (С. 27). Но факт есть факт, и Страхов имел основание напомнить о том, что «Пушкин до конца жизни никогда не думал печатать этих *странных* произведений, и они явились только после его смерти в “Современнике”» и сделать вывод, правда, не столь уж бесспорный, «что они сделаны были только *для себя*. Это была свободная игра его могучего гения, смысл которой едва ли был бы доступен для его читателей»⁷.

Присмотримся теперь к аргументации, к которой прибегает Страхов, чтобы обосновать пародийный характер «Истории села Горюхина». Произведение Пушкина, утверждает он, написано языком, «знаменитым слогом» карамзинской «Истории». «Расположение пародии напоминает первый том “Истории Государства Российского”. Вступление соответствует предисловию. От стихов и повестей Белкин, подобно Карамзину, перешел к истории, и перешел с теми же чувствами. “Мысль, – пишет Белкин, – оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования великих и *истинных* происшествий давно тревожила мое воображение”. Так смотрел и Карамзин. “И вымыслы нравятся, – говорил он, – но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина”. Взгляд на значение истории у обоих совершенно одинаков» (С. 29).

Думается, однако, что Страхов здесь несколько огрубляет действительное положение вещей. Карамзин призывает обманывать себя, выдавая вымыслы за истину, а Белкин (Пушкин) – оставить «сомнительные анекдоты» ради «истинных происшествий». О некоторой близости этих взглядов говорить можно, но никак не о том, что они совершенно одинаковы.

Более достоверно, хотя тоже не «совершенно одинаково» сходство в высказываниях обоих авторов о значении истории. У Карамзина: «История есть священная книга народов, главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил». У Пушкина: «Быть судьей, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью,

⁷ Григорьев Ап. Сочинения: В 2 т. М., Т. 2. 1990. С. 26-27.

доступной для писателя». Напоминает Страхов и о том, что Карамзин предпослал своему труду перечень исторических источников, среди которых называл летописи, так же делает Белкин в «Истории села Горохина».

Далее Страхов выстраивает сопоставление цитат из произведений обоих авторов, но убедительность этих сопоставлений очень разнится. Вот пример, в котором сходство предметов описания и их характеристик действительно просматривается: «Карамзин: “Славяне имели в стране своей истинное богатство людей: тучные луга для скотоводства, и земли плодоносные для хлебопашества, в которых издревле упражнялись”. Белкин: «Издревле Горохино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. На тучных его нивах рожь, овес, ячмень и гречиха» (С. 30).

Или: Карамзин: «Волынка, гудок и дудка были также известны предкам нашим: ибо все народы славянские любят их». Пушкин: «Музыка была всегда любимое искусство образованных горохинцев; балалайка и волынка, услаждая чувство и сердце, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою» (С. 31).

А вот пример другого рода, где сходство явно надумано. У Карамзина: «Греки, осуждая нечистоту славян, хвалят их стройность, высокий рост и мужественную приятность лица. Загорая от жарких лучей солнца, они казались смуглыми, и все без исключения были русые». У Пушкина: «Обитатели Горохина, большей частью, роста среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серые, волосы русые или рыжие» (С. 30). В первой цитате рост высокий и мужественная приятность лица. Во второй – рост средний, а мужественное – сложение. В первой – волосы без исключения русые, во второй – русые или рыжие.

В «Летописи села Горохина», утверждает Страхов, «чувствуется удивительно-схваченная манера Карамзина», но «схвачена» она была не в качестве образца, а в результате неудовлетворенности ею: «нельзя не чувствовать глубокой фальши, в которую впал Карамзин, резкого, и потому смешного противоречия между предметом и изложением. Итак, вот что сделал Пушкин. Он позволил себе лукавую и веселую дерзость, далеко

превосходящую дерзости современных нам нигилистов. Он решил подсмеяться над нашими летописями и над великим трудом Карамзина, без сомнения, величайшим произведением русской литературы до Пушкина» (С. 31).

При чем здесь ненавистные Страхову нигилисты, которых Карамзин ни капли не интересовал, не очень ясно, разве только для того, чтобы повторить, что их стремления к переоценке вещей продиктованы «тупым отрицанием, опирающимся на одном непонимании» и противопоставить его прозорливости Пушкина. Но важно другое. Пушкин, по Страхову, вовсе не следует Карамзину и пишет свою историю, руководствуясь другими принципами.

Только что сопоставлялись цитаты, суть которых была в том, что оба автора более всего стремились к истине, теперь выясняется, что реализовано это стремление только у Пушкина: «Сквозь насмешки Пушкина (надо полагать, над Карамзиным. – Т.В.) сквозит истина дела; как живое, встает перед нами Горохино, и вы начинаете догадываться, в каком правдивом свете можно бы изложить историю наших предков. Карамзин, очевидно, употребил для этой истории чужие мерки, облек ее в ложные краски: Пушкин глубоко почувствовал фальшь и попробовал сделать несколько штрихов, вполне верных действительности: контраст вышел поразительный» (С. 31). Так что же должно быть подтверждено сопоставлением обоих произведений: сходство или контраст?

Как показывает заключительный вывод критика, не «История государства Российского», только «История села Горюхина» служит для наших историков «постоянным указанием на то, к чему они должны направлять все усилия при изображении далекой старины, людей и нравов, стоящих на совершенно иных ступенях развития, имеющих совершенно иные формы жизни» (С. 32).

Во второй статье («Пародия») те же противоречия, которые обнаруживаются в предыдущей. Здесь вывод критика определен и однозначен: «Самая замечательная пародия Пушкина есть “Летопись села Горохина”, в которой он пародировал первые главы “Истории Государства Российского”. Ложный тон Карамзина здесь разоблачен совершенно, притом не вообще, а с точным указанием истинных свойств предмета, по отношению к которому этот тон

ложен» (С. 54). Не вступает ли здесь критик в противоречие с собственным определением пародии, которое он недавно отстаивал и противопоставлял неверному, но получившему распространение у современников?

Страхов отдавал себе отчет в том, что «черты русской жизни, намеченные здесь Пушкиным, истинно драгоценны – и стоили бы подробного разбора», что «верность этих черт и правдивость их освещения поразительны», что с этой вещи «начинается поворот в деятельности Пушкина, и он пишет ряд повестей из русской жизни, заканчивающийся “Капитанскою дочкою”» (С. 54).

Но это были лишь планы, оставшиеся неосуществленными, а вот вопрос об «Истории села Горюхина» как пародии Страхов поставил первым, и те, кто обращались к этому произведению позднее, уже привычно называли эту вещь пародией, не считая нужным дополнительно обосновывать его принадлежность к этому роду литературы. Все они явились в известной мере последователями Страхова независимо от того, соглашались они с ним или нет и как оценивали его концепцию и его аргументы.

Многие исследователи считали, что намерение пародировать «Историю государства Российского» находится в вопиющем противоречии с отношением Пушкина к главному труду Карамзина, в котором он видел «не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека», и принимая как данное пародийный характер «Истории села Горюхина», высказывали предположение, что объектом пародии явились другие, менее симпатичные Пушкину авторы. Назывались, в частности имена Н.А. Полевого (В.В. Виноградов, В.В. Сиповский, В. Кожевников), М.Т. Каченовского (А. Искоз) и некоторые другие.

«История села Горюхина» явно пародирует “Историю русского народа...”, – уверенно утверждает В. Кожевников. – Горюхинская история пронизана пародийными реминисценциями. Пушкин метил в Н.А. Полевого, в его “Историю...”⁸. Не случайно он взял ее с собой в Болдино»⁸. Неоднократно высказывались предположения, что Пушкин мог пародировать историков

⁸ Кожевников В. «История села Горюхина» – История России // Москва. 1988. №6. С. 151.

XVIII века и общий искусственно приподнятый и ложный тон, получивший распространение в книгах разных авторов.

М.П. Алексеев считал, что «пародия Пушкина должна была иметь в виду не специально то или иное произведение русской исторической литературы (Карамзин, Полевой), но некоторые общие нормы русской историографии»⁹. Н.В. Измайлов писал об «Истории села Горюхина», что «вопрос о том, пародировал ли Пушкин в своей сатире современных и прошлых историков и кого именно пародировал, остается невыясненным и спорным»¹⁰.

Весьма оригинальную гипотезу выдвинула Ю.И. Левина в статье «Об источниках пародийной формы в “Истории села Горюхина”». Автор в целом солидаризируется со своими предшественниками в том, что «вопрос о пародийном характере “Истории села Горюхина” рассматривался как центральный, осмысляющий все произведение; исследователи исходили из того, что пародия обязательно имеет адресат и пародирует какой-либо определенный исторический труд. Но кого из современных историков, и какой именно исторический труд имел в виду Пушкин? Тут мнения пушкинистов расходились, и назывались, в основном два имени: Н.М. Карамзина и Н.А. Полевого»¹¹.

Далее Ю.И. Левина обращает внимание на то, что «существовали известные Пушкину исторические работы несравненно более близкие по своему стилю и форме к изложению горюхинской истории, чем труды Карамзина и Полевого». Такой вывод позволяет сделать знакомство с учебниками и лекциями, которыми пользовались в Лицее в годы пребывания там Пушкина. Автор привлекает к рассмотрению и лицейские журналы и, приведя обширную выдержку из одного из них, делает вывод: «Эта пародия

⁹ Алексеев М.П. «К истории села Горюхина» // Пушкин в школе. М., 1951. С. 74.

¹⁰ Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 483.

¹¹ Левина Ю.И. Об источниках пародийной формы в «Истории села Горюхина» // Болдинские чтения. Горький. 1977. С. 84.

поразительно близка «Истории села Горюхина» по своему приему пародирования форм и изложения исторического труда»¹².

Едва ли не все исследователи «Истории села Горюхина» настойчиво подчеркивали, что смысл и значение этого произведения не ограничиваются лишь его пародийным характером. Мы полагаем, что Страхов не стал бы против этого возражать. Но не будем забывать, что в отличие от всех процитированных авторов он писал не об «Истории села Горюхина». Он писал о Пушкине-пародисте. Он ставил своей целью показать, что в богатейшей художественной палитре Пушкина нашла свое, пусть и небольшое место и пародия. Одним из примеров творчества Пушкина как пародиста ему послужила «История села Горюхина», и наличия в ней пародических элементов, кажется, никто не оспаривает.

Возвращаясь к «Заметкам о Пушкине» и рассматривая их как целое, хотелось бы прежде всего обратить внимание на точность избранного Страховым названия. Это действительно заметки, этюды, посвященные отдельным, в известном смысле частным вопросам творчества Пушкина, но они зримо объединены общей целью – объяснить современникам Пушкина, ввести их в его творческую лабораторию, привлечь внимание к тому, что могло остаться незамеченным или недооцененным.

В заметке «Нет нововведений» Страхов исследует природу и своеобразие новаторства Пушкина. Критик подчеркивает: это только может показаться что «нет нововведений», что Пушкин и не пробовал создавать новые литературные формы, использовал традиционные жанры: элегии, послания, сонеты, романсы, что «Евгений Онегин» имеет форму произведений Байрона, а форма «Капитанской дочки» взята из романов Вальтера Скотта, что любимый размер Пушкина – самый обыкновенный и общеупотребительный четырехстопный ямб ломоносовских од. Он даже приводит в подтверждение цитату из самого Пушкина, выделяя курсивом слова: *«Нововведения опасны и, кажется, не нужны»* (С. 38).

¹² Левина Ю.И. Об источниках пародийной формы в «Истории села Горюхина». С. 90.

Но в действительности критик стремится помочь читателю ощутить именно нововведения великого поэта, то, что он ни за какой формой не признавал безусловной ценности, он был свободен от суеверного порабощения любыми формами и, как говорит Страхов, «вливал в них обыкновенно столько содержания, что оно, так сказать, поглощало форму» (С. 38). В действительности он «делом и примером разрешил литературе всякие старомодности и всякие нововведения, с одним условием – чтобы они были уместны и нужны» (С. 40). В этом и состояли в глазах Страхова своеобразие и значение новаторства Пушкина.

Также и названия следующих заметок: «Переимчивость», «Подражания» не следует воспринимать прямолинейно. В первой из них говорится о необыкновенной чуткости и восприимчивости Пушкина в отношении всех предшествующих художественных достижений, благодаря чему «Пушкин иногда совершенно входил в их тон», но при этом, однако, «Пушкин стоял выше всех предшествовавших ему поэтов» (С. 42, 44). «Другое чудо, еще более удивительное, представляют подражания Пушкина народным стихам. Дух и склад народной поэзии уловлены так, что сомневаешься, действительно ли это сочинено Пушкиным, а не подслушано у народа <...> После этого, не прав ли был Пушкин, когда он сравнивал себя с эхом, отражающим всякий звук? <...> Он хорошо чувствовал, что его поэтическая сила способна все обнять, везде находить себе пищу» (С. 45, 46). Особенно показательно то, что «подражания» Пушкина, по словам Страхова, имеют «яркую своеобразность».

Зато две последние заметки – «Прямодушие» и «Истинная поэзия» – озаглавлены, можно сказать, всерьез, т.е. обозначают те качества, которые критик усматривал у Пушкина. Сравнивая Пушкина с современными ему поэтами, Страхов говорит, что если у них форма часто занимала главное место, а забота о красоте стиха перевешивала заботу о содержании, то у Пушкина форма была лишь орудием для выражения чувства и мысли.

Пушкин, пишет Страхов, «был правдивейший и искреннейший из поэтов <...> В Пушкине наша поэзия сделалась *правдою* <...> Вот почему он стал создателем ручкой поэзии. Он сбросил с себя все иноземные влияния, под которыми развивалась

наша литература; некоторая искусственность и изысканность, которыми она отзывалась до Пушкина, исчезли у него без следа. В поэзии стали прямо выражаться инстинкты русского сердца, стала отражаться русская действительность» (С. 55, 59).

Может показаться, что эти утверждения Страхова настолько банальны и повторяют столь избитые и общеизвестные истины, что не представляют какой-либо ценности и не могут вызвать интереса. Это глубокое заблуждение, и оно возникает лишь в том случае, если мы смотрим на страховские статьи глазами человека нашего времени. Но цитируемые «Заметки» появились в 1874 году, когда представление о Пушкине было совсем не таким, как сейчас.

Не прошло и десяти лет после появления статей Писарева о Пушкине. Писарев был одним из кумиром тогдашней демократической литературной общественности, и его статьи, написанные эмоционально и талантливо, естественно, имели большой резонанс, и представляется необходимым иметь это в виду, в частности, и потому, что Писарев в этих статьях не воздержался от прямой полемики и с Аполлоном Григорьевым, и со Страховым. Именно Страхова, Григорьева и их единомышленников Писарев попрекал тем, что они ставили Пушкина на пьедестал, на который он не имеет никакого права, а самого Пушкина именовал «так называемым *великим поэтом*» и литературным кумиром, который «разваливается от своей ветхости при первом прикосновении серьезной критики»¹³.

Особенно существенно высказанное при этом убеждение Писарева в том, что его статьи содержат изложение не его собственной, индивидуальной точки зрения: «Приступая к этой работе, я хотел только высказать громко и открыто и подкрепить фактическими доказательствами то мнение, которое уже многие мыслящие люди составили себе о Пушкине...»¹⁴.

Правоту этих слов Писарева подтверждает и другой авторитетный очевидец – И.С. Тургенев. Пушкин, говорил он при открытии памятника поэту в 1880 году, «испытал охлаждение к себе современников; последующие поколения еще более удалились от

¹³ Писарев Д.И. Сочинения: В 4 т. М., Т.3. 1956. С. 361-364.

¹⁴ Там же. С. 415.

него, перестали нуждаться в нем, воспитываться на нем, и только в недавнее время снова становится заметным возвращение к его поэзии»¹⁵.

Справедливость требует признать, что в числе людей, благодаря которым произошло и стало заметным «возвращение» внимания и любви русского общества к Пушкину, был и Страхов. То из написанного им, что сегодня представляется очевидным и бесспорным, вовсе не было таковым, когда он писал свои «Заметки». Тогда Пушкин нуждался в защите, в разъяснении, в пропаганде его творчества, и Страхов именно этим занимался. Он чутко уловил запросы своего времени и ответил на них, и его усилия не прошли бесследно.

Две статьи, завершающие «пушкинскую» часть сборника Страхова, связаны с Достоевским. Первая из них «“Борис Годунов” на сцене» написана в форме трех писем к редактору «Гражданина» – Ф.М. Достоевскому. Вторая – «Пушкинский праздник. (Открытие памятника Пушкину в Москве)» – имеет подзаголовок «Составлено по *Воспоминаниям о Ф.М. Достоевском*, 1883). На первой считаем возможным подробно не останавливаться, т.к. материала о Пушкине она в сущности не содержит, если не считать аргументации тезиса, что сценическая интерпретация, содержащаяся в опере «Борис Годунов», воспроизводит трагедию Пушкина в обедненном и искаженном виде.

Вторая статья строится и на собственных свидетельствах и впечатлениях критика, содержит сложившееся у него восприятие и понимание происходящего, изложение его мыслей, в которых, однако прослеживается и общность точек зрения с Достоевским, и вероятное влияние Достоевского.

Страхов, несомненно, стремился дать в своей статье объективное и достоверное описание происходившего, опираясь исключительно на увиденное и прочувствованное. Но он не мог да, вероятно, и не пытался отказаться от субъективных акцентов, и их выявление и анализ представляют для нас не меньший интерес, чем свидетельства очевидца. Страхову удалось дать разностороннюю

¹⁵ *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. Сочинения. М.; Л., Т.13. 1968. С. 72.

характеристику происходившего в день празднования, включающую оценки позиций и взаимоотношений представителей разных идейных лагерей, но одна из этих оценок прошла красной нитью через всю статью и была сформулирована уже в самом ее начале: «...можно прямо сказать, что именно речь Достоевского дала празднику некоторое существенное содержание, и осталась после него как твердое и блестящее украшение, не улетевшее вместе с дымом и пламенем этого фейерверка» (С.106).

Страхов здесь в чем-то прав, а в чем-то нет. Речь Достоевского была действительно самым значительным из всех выступлений, прозвучавших на празднике и получила единодушную поддержку. Могло показаться, что мысль о духовном единении русских людей вокруг священного для них всех имени Пушкина окажет умиротворяющее воздействие, сплотит представителей разных фракций тогдашней общественности. Достоевского, а вслед за ним и Страхова, очевидно, вдохновляло то, как указывает критик, «что в продолжение трех дней... не было сказано ни одного слова враждебного; напротив были примеры дружелюбных отношений, завязавшихся между враждовавшими» (С. 108). Но подобные надежды оказались необоснованными, прежние раздоры никуда не исчезли, а иллюзия единения вокруг идей, с такой энергией и силой провозглашенных Достоевским, действительно улетучились «вместе с дымом и пламенем этого фейерверка».

«Как только начал говорить Достоевский, – продолжает Страхов, – зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал по писанному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине. То одушевление и естественность, которыми отличается слог Достоевского, вполне передавался его мастерским чтением. Разумеется, главную силу этому чтению давало содержание» (С. 114-115).

Современники сохранили много воспоминаний о впечатлении, произведенном речью Достоевского, но, думается, описанию, оставленному Страховым, принадлежит особое место, и в немалой степени потому, что он говорит об увиденном не как свидетель, а как участник и специально подчеркивает это. «Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый,

непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем <...> Толпа вдруг увидела человека, который сам был весь полон энтузиазма, вдруг услышала слово, уже несомненно достойное восторга, и она захлебнулась от волнения, она ринулась всею душою в восхищение и трепет. Мы тут же все принялись целовать Федора Михайловича» (С. 116).

Страхов подчеркивает, что в отношении к речи Достоевского сошлись точки зрения обоих «подразделений». Аксаков назвал ее гениальной и сказал Достоевскому, что и Тургенев, представитель западников, и он сам, которого считают славянофилом, должны выразить ему величайшее сочувствие и благодарность. Ту же оценку дал ей западник П.В. Анненков, сказавший Страхову: «Вот что значит гениальная, художественная характеристика! Она разом порешила дело!» (С. 116). Уже после завершения праздника, анализируя все произошедшее и услышанное, Страхов приходит к выводу, что обе партии были побеждены и признали себя побежденными: славянофилы признали Пушкина великим выразителем русского духа, а западники увидели, что, и превознося Пушкина, не понимали всех его достоинств.

«Но кто же победил? – спрашивает Страхов. – К какой партии принадлежит Достоевский?». Порой примыкая к славянофилам, он «не есть прямой славянофил» и «не из славянофильства он почерпнул то восторженное поклонение Пушкину, которое так блистательно выразил и которое дало ему победу. И я вспомнил с большою живостью ту партию, к которой он принадлежал» (С. 120).

Страхов не произносит слова «почвенничество», но дает, вероятно, самую детальную характеристику этого направления из всех, которые можно у него найти. И – что особенно важно и показательно – эта характеристика сопровождается напоминанием о своем предшественнике – Аполлоне Григорьеве, «тоньше и глубже которого у нас никто не объяснял Пушкина». Вся эта характеристика строится на противопоставлении почвенничества как славянофильству, так и западничеству и настолько важна для понимания устремлений и самосознания Страхова, что стоит ее привести.

Ее, «партию», к которой принадлежал Достоевский и к которой Страхов, без сомнения, относит и себя, «можно назвать *чисто-литературною*, или, пожалуй, *Пушкинскою*, наконец просто *русскою*. Она всегда сильно тяготела к славянофильству, но не выставляла резких положений и законченных общественных теорий, и потому никогда не успевала добиться такого внимания публики, каким пользовались западничество и славянофильство. Она постоянно проповедовала величайшую любовь к художественной литературе, придавала ей почти первенствующее значение в духовной жизни народа, а потому, можно сказать, благоговела перед Пушкиным, как перед главным явлением нашей литературы. Она, эта партия, уклонялась от подражательности западничества и всегда видела в современной русской жизни больше внутреннего содержания, чем его находило исключительное славянофильство, а также всегда менее славянофильства чуждалась жизни иных народов. Вот какая партия победила на Пушкинском торжестве» (С. 120).

Спустя восемь лет после Пушкинского праздника Страхов приписал к своей статье еще полторы страницы, пронизанные скепсисом и разочарованием в тех надеждах, которые были им испытаны в те июньские дни 1880 года. Тогда он надеялся, что для Пушкина не скоро наступит «судьба тех бессмертных писателей, которые перепечатаются каждый год, изучаются каждым подрастающим поколением, но дух которых уже улетел от нас, уже никого не занимает и ни на кого не действует» (С. 125).

За истекшие годы ему пришлось убедиться, что праздник оказался «очень незначительным делом» и далеко не оправдал возлагавшихся на него надежд. Общество, которое, как тогда казалось, пережило момент сплочения вокруг священного имени великого поэта, все более отходило от идеалов, провозглашенных в дни пушкинских торжеств. «Не мы Пушкину устроили памятник и праздник; скорее он их для нас устроил, он дал нам три дня чистого воодушевления, зажег в нас, хоть на время, искру лучшего существования» (С. 125). Из этого уточнения – «хоть на время» – нельзя не заключить, что эта искра, по мнению Страхова, погасла.